

❧ ГЛАВА 1 ❧

Вот загадка: ни одного другого человека Степа Соловей не ощущал более чужим себе, чем своего отца. — Что-то это мне напоминает, — сказал Соловей-старший, озираясь. — Музей советского планктона?

Он сморщил породистое лицо и чихнул от пыли. Прошелся по коридору-кишке, оклеенному табачными обоями, колупнул ногтем наклейку с выцветшей блондинкой на зеркале, постоял, уперев руки в бока, напротив чеканного панно с изогнувшей шею ланью, родом из эпохи застоя. В квартире, выставленной на продажу, отец и сын были одни.

— Потолки три двадцать, — казенным голосом сказал Степа. — Дом пятьдесят третьего года постройки, м-м, неплохой. Ремонт, как видишь, ремонт делали сорок лет назад...

— Снести все на фиг. Опен спейс.

— Это как ты захочешь. Тебе жить.

Степа сохранял вид бухгалтера, равнодушно считающего чужие деньги. Богатенький папа захотел купить квартиру, привлек к процессу риелтора-сына — ну, бывает. Что? Отец ищет квартиру для меня? Ни-ни, я ни слухом ни духом. Наверно, когда-то надо перестать притворяться незнающим... Не объявлять



же в день совершения сделки: «А пошел бы ты со своим подарком, отец!» Угу. Прямо у нотариуса. Встать и заявить, когда гражданин Соловей-старший и гражданин продавец занесут ручки над договором купли-продажи квартиры. Было бы эффектно. А сейчас не до того, не до разъясняющих разговоров с отцом. Нет сейчас сил для сцен. Потому что все мысли — про ба... «Четвертая степень», — сказала она.

Степа уставился себе под ноги, на древний, янтарным лаком покрытый скрипучий паркет, потом перевел взгляд на мелкие, запыленные олени рога над входной дверью. Краем глаза он замечал, что отец смотрит на него, и как-то с прищуром, с неодобрением смотрит. Наверное, думает: хреновый мой сын риелтор, вялый, как тюлень.

— Вспомнил! — воскликнул Богдан. — Я же был здесь!

— Был?

— Не просто был, я чуть концы не отдал в этой квартире!

Степа недоверчиво хмыкнул.

— Представь себе. Было это в восемьдесят четвертом году, накануне восемьдесят пятого. Мне было двадцать пять лет, расцвет юности, а ты, соответственно, еще в пеленках лежал. Я бы даже сказал, из-за тебя все случилось, Степа.

— Из-за меня? — Степа скрестил на груди руки. — Извини, извини. Боюсь даже представить, что ж я сделал такого. В пеленках, угу.

Отец посмотрел на него с усмешкой, как на малоумного.

— Ничего криминального, только вопил и какал. Но моего товарища шурин, военный, приехал из Дрез-

дена и привез пачку подгузников. Гэдээровские подгузники — немыслимая роскошь, в СССР их не выпускали в принципе. Я, разумеется, не мог устоять! Ухнул на них тридцать рублей. В декабре, накануне праздников. А у нас, у молодой семьи, и так с деньгами было туго. В общем, из-за твоих подгузников остались мы на мели...

Отец вышел из коридора в комнату — просторную столовую с дубовым столом на единственной бочкообразной ноге, с сервантами и книжным шкафом, наполненным сплошь собраниями сочинений. Степа волей-неволей последовал за ним. Богдан присел на край стола и, болтая в воздухе ногой в замшевом ботинке, продолжил:

— Как раз тогда мне знакомый предложил подработать. В бюро услуг штатный Дед Мороз запил, а на его красный нос было двадцать квартир записано на тридцать первое декабря. Выручай, Богдан! Я согласился. В девять утра тридцать первого загружаюсь в служебный «Москвич». За рулем — водитель, на заднем сиденье — Снегурка бальзаковского возраста, русая коса, плюс мои борода и шуба. Борода, кстати, мерзкая была, белые клочья синтетические, под ней сразу лицо стало чесаться. А шуба — красный шелковый халат на вате, классика для утренников. Ну, поехали!

В первой же квартире, не успела девочка стишок прочитать, мне предлагают рюмку водки. Я говорю: «Дедушка Мороз до полудня не пьет». А они: «Нет-нет! Если не выпьешь с нами, у нас год будет несчастливый!» Ладно, думаю, что мне будет с пятидесяти грамм? Опрокинул. В следующей квартире, только мальчик загадку отгадал, подарок получил, родители подносят портвейн. И я тебе скажу, это было далеко

не то благородное порто, которое и сейчас со всем удовольствием. Нет, то была болгарская бормотуха. Но что делать? Умоляют. Я снизошел. Нанес вред здоровью. В третьей квартире — опять водка. В четвертой — рижский бальзам. Снегурочка моя пьет через раз, и только пригубливает, но взгляд у нее стал с поволокой. Я уже понимаю, что работа у Деда Мороза — опасная. Тем более что закуски особо не предлагают, максимум селедкин хвост. К часу дня я решил: хватит! Надо завязывать! А то до курантов не дотяну. Какой там до курантов — до последнего мальчишка-зайчика не дотяну, двадцать квартир же сегодня. В общем, я завязал. Я стоял как кремь, говорил: у меня язва, у меня партбилет, не могу. Но то ли в десятой, то ли в двенадцатой квартире мне вынесли французский коньяк. «Мартель»... О! В восемьдесят четвертом году настоящий французский коньяк — это было нечто! Редкость — сродни голубому носорогу. Это как, понимаешь, когда я поехал лет пять назад в ту самую деревню Коньяк, в той самой Франции, алкотур, три коньячных дома за день, спаивают по-страшному, двадцать бокалов на дегустацию выставляют, и к шести вечера ты уже мягонький, тепленький, как помидор на жару, а тут тебе подносят бокальчик и говорят: отведайте, месье, это из особых резервов, семьдесят лет, терруар, букет, винтаж, вуаля... Так, я отвлекся. Значит, восемьдесят четвертый год...

— И что же? — иронически спросил Степа. — Напоили тебя в хлам? Извини, извини. В сосиску? Вусмерть? Прямо в этой квартире, неужели? Угу.

— А я узнаю, между прочим! — возразил отец. — Обои те же самые, картиночки эти, мебели, чеканка-лань, тумбочка — именно. До этой квартиры я к ве-

черу добрался. Иду, шуба нараспашку, борода на ухе. Пою: «Пять мину-ут, пять мину-ут! Бой часов...» И так далее. Загадки все забыл, кроме одной: «Ответ дайте четкий: посуда для водки?» Я опираюсь на Снегурку, она на меня. Поднимаемся на этот седьмой этаж — я запомнил, потому что лифт не работал, — взмыленные, красные, потные, заходим в квартиру. Не успел я спросить, кто тут себя вел хорошо, как вон оттуда, из той комнаты, вылетает с хриплым лаем ирландский волкодав.

— Откуда, извини, в Домске ирландский волкодав? Да?

— Думаешь, у меня было время спрашивать откуда? — усмехнулся отец. — Когда этот теленок, в холке мне по пояс, летит на меня с разинутой пастью? Не спорю, порода редкая, и потом-то я расспросил, отдельная заковыристая история с дядьями-дипломатами, но сейчас речь не о ней. Так вот, мчится на меня этот мастодонт, я назад, хозяйева квохчут, девочка-ангелочек заливается радостным смехом... И тут я с разворота ногой барбосу в нос! Он так и сел. От неожиданности. Видимо, никто прежде не смел. Потом волкодав головой тряхнул, снова на меня.

— И ты его это. Кия!

— А тут у меня валенок поехал по паркету. Скользкие были валенки, неподшиты-стареньки. Не успел я сказать: «Мать-перемать», как грохнулся навзничь. Не хуже Чарли Чаплина. А вот эта тумбочка, — Богдан постучал пальцем по квадратному дубовому изделию, — оказалась аккурат под моим затылком. Угол под затылок — да... Лежал бы твой отец паралитиком.

Богдан значительно замолчал и посмотрел на Степу, как бы ожидая от него ахов, заламывания рук, со-

чувственных воплей или хотя бы вопросов. «Ну-ну, — подумал Степа. — Ваш рассказ очень важен для нас, ждите». Так они постояли еще минуту, другую, третью; молчание отца при этом становилось все значительней, перевалило в область высокого пафоса, практически трагедии, и нужна, уже нужна была реплика — или хотя бы выстрел, звук падения тела, — но Степа молчал и с видом скучающего клерка подпирал блеклую стену. Наконец Богдан встрепенулся, стер трагедийное выражение с лица и продолжил как ни в чем не бывало:

— А спасла меня шапка. Я ее как раз на затылок сдвинул, дедморозовскую шапчонку. У нее была опушка плотная, из белого чебурашки, она смягчила удар. Как говорится, пронесло! Повезло, бог миловал. Но голова потом три дня болела.

— Это она, извини, м-да, от выпитого, — прокомментировал Степа. — Угу. Если водку портвейном запивать, случается такое.

Отец окинул его холодным взглядом.

— Ты, главное, запомни, что все с тебя началось. С твоих подгузников, Степа.

Богдан прошелся по квартире, даже не заходя, а только заглядывая в комнаты на секунду, скривил рот и бросил:

— Не цепляет. Поехали дальше!

Следующий просмотр был назначен в Заречье. Степа сел на пассажирское место впереди. За рулем раритетного «Ситроена ДС», разумеется, был отец. Южно-синяя, ракетных обводов машина поехала по проспекту Мира.

— Домск, милый Домск, — мурлыкал отец. — Буду теперь наезжать регулярно — проводить вну-

ка, припадать к своим провинциальным корням... Одобряешь, Степа?

Степа раскрыл рот, подбирая слова, но не успел подобрать, отец сменил тему.

— Видишь этот магазин? «Мужская мода “Прокруст”»? В советское время здесь была галантерея. Пуговицы, перчатки, всякое такое. Мы, мальчишки, его обожали. Прилипали к витрине.

— Да, пуговицы — они, конечно, да. Вещь! — покивал Степа.

Захотелось вдруг отца поддержать. Тот как-то загрустил после выхода из квартиры с волкодавом.

— Пуговицы? — удивился отец. — При чем тут пуговицы? Там была одна продавщица... кустодиевской красоты женщина. Носила платья с декольте. Она становилась за прилавок, клала на него свою грудь, большую, как подушка с лебяжьим пухом, опираясь локтями, помещала подбородок на руки и смотрела куда-то вдаль. Мечтательно так. А мы как бы невзначай прогуливались мимо витрины. Какие впечатления! Ух! До сих пор помню. Для неокрепшего подросткового организма... не знавшего ни «Плейбоя», ни Интернета...

— М-м, — невнятно промычал Степа.

— А на том углу летом семьдесят второго года размещался мой личный банк, — отец ткнул пальцем в перекресток. — Там стоял автомат с газировкой — ну, ты знаешь: за копейку простая, за три с сиропом, стакан украли алкаши... Я нашел у него секретную точку, практически акупунктурную. Если садануть по ней ботинком со всего размаха, он выплевывал всю свою мелочь. Причем сделать это нужно, когда рядом ноль народа. Задача не из простых! Я так окормлялся целое лето, пока не починили мой автомат-банкомат.

Там, где сейчас пустое место, когда-то росла вековая липа, ровесница Маяковского. Ты знал, что он приезжал в Домск? Читал стихи в Политехе. Где я учился. (Отец снисходительно улыбается краем рта и сразу понятно: все умные люди этого города учились в Политехе. И сразу понятно, что Степа, окончивший Пединститут, — тук-тук, бум-бум.) О, ликерку закрыли? Жаль... (Здание ликеро-водочного завода теперь щеголяет двумя десятками вывесок, от «Салона уюта “Занавесочка”» до зоомагазина «Лапа».) А я после первого курса проработал на ликерке два месяца. Грузчиком. Жуткая работа, мужики там спивались за два-три года. Выносить было нельзя, а на то, что внутри цеха все пьют, как кони, смотрели сквозь пальцы. Как сейчас помню, в день, когда разливали ванильный ликер, к вечеру все работяги потели мадагаскарской ванилью. Татуировки, железные зубы, морды кирпичные, а благоухать начинали, как торт с кремом... А здесь, у концертного зала, мне зимой девяносто второго года морду набили. А на вид были тонкие, душевные люди. Я вечером шел с бильярда, хмельной-веселый, и тут они вываливают с сеанса Чумака с заряженными банками. Ты не помнишь. Экстрасенс. Заряжал воду, чтоб лечила от всего. Ну, я иду, и тут из дверей — толпа с трехлитровыми банками. Лица просветленные. Все готовы стать свидетелями чудес. И черт меня дернул... «Дайте водицы испить!» — говорю. «Помираю! — говорю. — Помираю от золотухи!» Выхватил у одного банку, у очкастого... Сам ведь не знаю, зачем я это сделал? Очкастый озверел. А еще гололед... В гололед драться — людей смешить. Пока мы с ним кулаками махали, еще пол-

дюжины банок разбилось. Об этом даже в «Домском курьере» написали...

О, минуточку! Покажу тебе одну достопримечательность. Не дрейфь, на просмотр мы успеем, тут недалеко. Видишь эту поликлинику облупленную? Я застал время, когда ее строили. Пролезал на стройку вместе с приятелями. Видишь надземный переход, стеклянную кишку между двумя корпусами? Здесь твой отец на спор танцевал твист. На уровне четвертого этажа. Надо бы мемориальную доску приколотить. Что тут такого? То, что перехода тогда еще не было, были только две стальных балки. Вот на балке я и танцевал. В темноте, естественно. При свете, в разгар дня, никто б не позволил. Кстати, рядом с поликлиникой, там, под липой, была телефонная будка — тоже в своем роде достопримечательность. В этой будке один хороший человек — нет, не я, товарищ мой — потерял девственность. О, ты не представляешь! Для этих целей каких только мест не находили! Потому что дома — ха-ха! Уединиться с девушкой дома, где еще восемь человек на семи квадратных метрах живут... Квартирный вопрос. В гостиницу? Ха-ха! Степа, наивный мальчик. Слава богу, не знал ты советской жизни... Кстати, а вон там, за углом, была одна площадочка, где я... Ладно, уезжаем. Вижу, что не впечатляют тебя дороги моему сердцу точки.

Отец хмуро замолчал и прибавил газу. А Степа все так же сидел на пассажирском месте и с безразличным видом смотрел в правое окно. Его не то чтобы не впечатляло. Просто не хотелось ему слушать эти гусарские рассказы. Не хотелось, и все! Нет, сам он тоже расписывал, как выпивал на спор бутылку водки, как ходил по краю, залезал туда, давал деру отту-



да... лет в шестнадцать, в двадцать он так расписывал. Угу. А сейчас ему хотелось сказать отцу: пока ты тут распускаешь хвост, Майя умирает от рака! Наша Майя, твоя мать! Ему хотелось хлестнуть отца этой новостью, сбить его с ног — так же как сам он был сбит с ног. Но это была не его тайна.

Бесит, ну просто бесит! Богдана выводило из себя полуотсутствующее выражение на лице сына. Он никогда не мог понять, что оно означает: Степа скучает? Фантазирует? Тупит? Что это, черт побери? Какая-то маска из ваты, которую он носит не снимая.

Степа водил его по квартирам уже третий день, сразу после незадавшегося дня рождения начали. И по большей части именно такую баранью морду он делал в присутствии своего отца. Он был неизменно вежлив с Богданом (да, это некоторый шаг вперед после недавних раздраев). Вечером Богдан хлопал Степку по плечу: «Ну, бывай, сын!» — и тот отвечал улыбкой. Улыбкой столь же теплой, как скобка степлера. И Богдана это злило. Что ж ты за человек, сын! Есть в тебе хоть какая-то искра?! Хоть иногда нутро у тебя разгорается, хоть от чего? Или ты всегда такой, тюфяк «ни рыба ни мясо»?

Богдан хотел высечь эту искру, растормошить сына. Потому и про Деда Мороза выдумал. Нет, не совсем выдумал. Пачка гэдээровских подгузников была (оплаченная выигрышем на бильярде). Подработка Дедом Морозом была (без всяких приключений, потому что Богдан сразу сделал каменное лицо и сказал: «На работе не пью», а потом сделал одно исключение для французского коньяка). Даже ирландский волкодав был — у его приятеля; раскормленная до безобра-

зия, ленивая скотина, слава богу, никогда на Богдана не покушавшаяся. Да, получается, не выдумал ничего, а всего лишь сложил факты в один пазл.

А почему про Деда Мороза? Кто его знает! Хотя... И вдруг Богдан вспомнил — вспомнил давний эпизод, сто лет не всплывавший в памяти. Это случилось, когда Богдану-Дане было лет семь. Кто-то подарил его родителям чеканное панно с ланью — точь-в-точь как в квартире, из которой они недавно вышли со Степкой — ну да, через эту чеканку и сработала память...

— Хорошо еще, не ковер с лебедями! — доносился из комнаты звучный голос отца.

— Люди меня отблагодарили, как сумели, Толя, — отвечала мать. — Вкус у них небезупречный, но подарок-то от души.

Даня знал, что его матери женщины часто дарят подарки, потому что она работает женским врачом и постоянно им помогает. Больше всего ему нравилось, когда маме дарили конфеты.

— Ты ведь знаешь, я не люблю пошлость, — сказал отец. — Унеси эту лань на работу. Договорились, Маюша?

Даня подошел к окну кухни, влез на табуретку и прилип носом к холодному стеклу. За окном было светло от свежего снега. Снег лежал рыхлым сугробиком на балконе, выбелил дорогу, превратил в черно-белую гравюру кроны деревьев за парковой оградой. Дребезжа, проехал троллейбус, оставляя за собой на белом два рельсовых следа. А вдруг в нем — Дед Мороз? Нет, глупости, он не может, как обычные люди, ездить на троллейбусах. Зачем? Ему достаточно стукнуть посохом, и он появится где угодно из снежного вихря... Скорей бы! Даня очень ждал его.